

Зимний вечер в Бурсе

Очерк первый

Николай ПОМЯЛОВСКИЙ

Русская классическая литература (К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и другие) и журналистика оставили нам в наследство немало художественно-публицистических свидетельств о старой школе, об учителях, об отношениях наставников со своими питомцами. Начиная с 10-го выпуска 1999 г., мы знакомили вас с циклом статей журналиста, театрального критика, «короля фельетона» Власа Дорошевича (см. «НО» № 10, 1999г., №№ 1, 3, 7, 8, 9, 2000г.).

Сегодня начинаем публикацию художественно-документальных «Очерков Бурсы» Николая Помяловского. В совокупности с публицистикой Власа Дорошевича они составят полную картину того, чему и как учили на Руси в гимназиях и в учебных заведениях «для народа», «для великовозрастных», которых насильно загоняли в школу и что из этого получалось...

Класс кончился. Дети играют.

Огромная комната, вмещающая в себе второуездный класс училища, носит характер казённости, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны — в чёрно-бурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подпёрт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками: иначе на нём была бы постоянная грязь и слякоть от снега, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут парты (учебные столы); у передней стены, между окнами, стол и стул для учителя; вправо от него — чёрная учебная доска; влево, в углу у дверей, на табурете — ведро воды для жаждущих; в противоположном углу — печка; между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, всё перешитое из матерних капотов и отцовских подрясников, — нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое; на всём этом виднеются клочья ваты и дыры, и много в том месте злачном и прохладном паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака. В пять окон с пузырчатými и зеленоватыми стёклами пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы берём училище в то время, когда кончался *период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия*. Были года — давно они прошли — когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счёту и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с майскими (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а, поучив грамоте года три-четыре, отпускали дьячить; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали богословского курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание — не пользы науки, а неизбежности её. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда

изобрели знаменитый закон великовозрастия. Отцы не все ещё оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырёх классах училища по два года, такие делались великовозрастными; эту причину отмечали в титулке ученика (в аттестате) и отправляли за ворота (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась за ворота новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определённых занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в тёмном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых.

На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор; с первого взгляда заметно, что их в огромном классе более ста человек. Какое разнохарактерное население класса, какая смесь одежд и лиц... Есть двадцатичетырёхгодовалые, есть и двенадцати лет. Ученики раздробились на множество кучек, идут игры — оригинальные, как и всё оригинально в бурсе; некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только по полу, но и по партам, над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов.

Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, например: *Митаха, Элпах, Тавля, Шестиухая Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерра-Кокста, Катька* и т.п., но этого не можем сделать с Семёновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура, — крайне неприличное.

Семёнов был мальчик хорошенький, лет шестнадцати. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько; сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семёнов чувствует, что он городской, а на городских товариществе смотрело презрительно, называло бабами; они любят маменек да маменькины булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бессильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семёнова — никак не разгадать его: грустно и в то же время хитро; боязнь к товарищам смешана с затаённой ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удержать себя вдали от товарищей, в одиночку; но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают; и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошёл к играющим в камешки и робко проговорил:

— Братцы, примите меня.

— Гусь свинье не товарищ, — отвечали ему.

— Этого не хочешь ли? — проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце...

— Пока по шее не попало, убирайся! — прибавил третий.

Семёнов отошёл уныло в сторону; но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и отерпелся с грубым обращением.

— Господа, *с пылу горячих*.

— Кому, Тавля? — отозвались голоса.

— Гороблагодатскому.

Семёнов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силач в классе, а Тавля — четвёртый. Лица, окружившие игроков, приятно осклаблялись, ожидая увеселительного зрелища.

— Ну! — сказал Тавля.

Гороблагодатский положил на стол руку, растопырив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его пять небольших камней самым неудобным образом.

— Валяй! — сказал он.

Тот вскинул кверху камни и поймал из них только три.

— За два! — подхватили окружающие,

— Пиши, брат, к родителям письма, — прибавил Тавля со своей стороны.

Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол, Тавля кинул камень в воздух, во время его полёта успел со страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень.

Толпа захохотала.

Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальные дополнения: здесь она *со щипчиками, и притом щипчиками, холодненькими, тёпленькими, горяченькими и с пылу горячими*, которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зелёная приходчина, а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель.

Между тем матка (главный камень) летала в воздухе, а Тавля своими здоровенными руками скручивал кожу на руке партнёра и дёргал её с ожесточением. После двадцати щипчиков рука сильно покраснела; после пятидесяти появилась синева.

— Любо ли? — спрашивает Тавля, заглядывая ему в глаза.

Противник молчит.

— Любо ли? — Опять ответа нет.

— Взъерепень, взъерепень его! — говорят окружающие.

— Заплачь, так прошу! — говорит Тавля.

— Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! — ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует.

— Что, дядя, больно?

Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский нсвольно стиснул зубы. Все захохотали.

— Живота аль смерти?

Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадованья или неприязненной насмешки; товарищи видели во всём только комическую сторону. Один лишь Семёнов улыбался как-то особенно; его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаённо повторял в душе:

«Так и надо, так и надо!»

Дошло до ста...

— Ну, чёрт с тобой! — заключил наконец Тавля.

Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решился на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более чем с пылу горячих. Оба они были *второкурсные*. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя товарищество, которое стало во враждебные отношения к начальству и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, с своей стороны, также стало во враждебные отношения к товариществу и, чтобы сдерживать его в границах *училищной инструкции* (кодекс правил для поведения и учения), изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были: *старшие спальные* — из второуездных; *старшие дежурные* — из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу; цензора — надзирающие за поведением в классе; аудитора — выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в нотатах (особой тетради для баллов); наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная — *секундатор* — ученик, который, по приказанию учителя, сёк своих товарищей. Все эти власти выбирались из второкурсных. Ученик, просидев за партою два года, за леность и малоуспешность оставался в том же классе ещё на два: этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный; это бралось начальством во внимание, и расчёт был верен: второкурсные, желая удержать власть в руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, пото-

му что не бездарность, а лень делала их второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства; жалоба на них была оскорблением для зрителя и инспектора; деспотизм их развивался в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, аудитора, старшие и секундатеры получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своём царстве, аудитора составляли придворный штат, а второкурсные — аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних два года, понятно, делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, умение надуть их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то: при училищном *второкурсии* только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данною им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие силачи — Лашезин и Бенелявдов; его все ненавидели и презирали.

Тавля, в качестве второкурсного аудитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчинённых деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище, при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен, нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вовсе не редкость, а напротив — норма, когда *десять копеек*, взятые на *недельный срок*, оплачивались *пятнадцатью копейками*, то есть, по общепринятому займу на год, это выйдет *двадцать пять раз капитал на капитал*. При этом должно заметить, если должник не приносил, по условию, долгу через неделю, то через следующую неделю он обязан был принести вместо пятнадцати двадцать копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошёл в обычай бирсы; не один Тавля живодёрничал; он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или аудитор требовали взятки; не дать — беда, а денег нет, вот и идёт первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от презрительных взглядов. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки; поэтому на городских налегали все, хотя и из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные, а не страшно, так отдует; да и чем только при глубоком разврате Тавли не служили для него подавдиторные? При всём этом он был жесток с теми, кто служил ему. «Хочешь, говорит, Катька, *рябчика съесть?*» — и начинает щипать подчинённого за волоса. «Тебя маменька вот так гладила по головке; постой же, я покажу, как папенька гладит»; после этого, уставив палец против шерсти (волос), он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» — спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, потные, скверные ладони к ушам подавдиторного, сжимает между ними голову его и потом, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? Вон она!» Он загибал своим товарищам *салазки*, то есть положит ученика на сиденье парты лицом вверх, поднимет его ноги и гнёт их к лицу. Плунуть в лицо товарищу, ударить его и всячески избить составляло потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неопе-

рившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьёв на части. Меньшинство его ненавидело; большинство боялось и ненавидело.

Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нём совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчёте, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, аудитора, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры — всё это было запрещено начальством и всё это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского.

Он был *отпетый*.

Отпетый характеристичен и по внутреннему и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперёд, с отважным перевалом с ноги на ногу; вся его фигура так и говорит; «хочешь, тресну в рожу? думаешь, не посмею!» — редко даёт кому дорогу, обойдёт начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, *отмачивает* дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вольность бурсака и, если нужно будет, не пощадит для этого священного дела ни репутации, ни титулки. Он основной столб товарищества, Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода: одни из них назывались *благими*: это были дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов; другие назывались *отчвалыми*: эти были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные; Гороблагодатский же был отпетый башка: он шёл в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш; вздерут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальству, как Гороблагодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой *размазнёй* (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей* напустили в шубу, свинье инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол — всё это были дела Гороблагодатского, который смело вёл за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гороблагодатский: под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченых и вообще недовольных; эти волнуют весь класс, самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить, товарищество возбуждено — и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется *бунтом*. Протестанты наперёд знают, что они ничего не добьются от начальства: если, например, их кормили *убоиной*, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же убоину; но они по крайней мере гнев сорвут, а там пори себе десятого.

* Этих насекомых было огромное количество в бурсе. Не поверят, что один ученик был почти съеден ими: он служил каким-то огромным гнездом для паразитов; целые стада на виду ходили в его нестриженной и нечесаной голове: когда однажды сняли с него рубашку и вынесли ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ели тело бурсака.

Гороблагодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства; в продолжение семи лет он был сечён раз триста и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы; но во всяком случае должно сказать, что его всё-таки мало секли: за его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в пять раз больше, но он был ловок и хитёр. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надуть начальство. Особенно замечателен был приём под названием — *пустить в круговую*. Например, отнимут табакерку у А.; А. говорит, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А., А. опять на В. — вот и круговая: разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось

человек тридцать, и тогда сам Соломон не разберёт, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем кричал во время класса?» — «Меня научил такой-то». — «А ты зачем?» Тот ссылается на другого, и пошла коловоротница, в которой сам чёрт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением, надуть начальство — подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость; напротив, кто больше и наглее лгал перед начальником, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся на чём свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гороблагодатский стоял выше всех; после долгой практики в скандалах разного рода он приобрёл навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорблённая невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Всё, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что: поэтому розги, оплеухи, лишения обеда, стоянье на коленях, земные поклоны и т.п. для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело не позорное, лишённое смыслу и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сечённый публично в столовой, пред лицом пятисот человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство пред начальнической розгой создало местную поговорку: *не репу сеют, а секут только*. Да чего лучше: секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах: искусный в своём деле, он сильно драл своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда под ними лежала добрая голова. Гороблагодатского много секли; случалось ему вкушать даже до ста ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому бы то ни было наказанию. Ставили его коленями на покатою доске парты, на выдающееся ребро её, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов, приговаривали держать в поднятой руке, не опуская её, тяжёлый камень по получасу и более (нечего сказать, изобретательно было начальство), жарили его линейкой по ладони, были по щекам, посыпали сеченое тело солью (верьте, что это факты) — всё он переносил спартански: лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавал ему с пылу горячих.

Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру; но он с ним играет в камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончив шипчики, Тавля предложил лукаво:

— Не хочешь ли ещё? Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя.

— Давай! — упорно отвечал Гороблагодатский.

Камни опять защёлкали.

Семёнов издали наблюдал за игроками. Семёнов был третий тип училищный, созданный тою же бурсацкою администрациею. Товарищество сегодня огласило его *фискалом*.

Начальство понимало, что через своё педагогическое устройство бурсы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепостей далее. Явилось новое должностное лицо — фискал, который тайно сообщал начальству всё, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Спо-

собные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую послугу начальство переводило их из класса в класс как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство занимали не своё место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать своё усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу: например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экономской свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предуведомлённый заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев, при непобедимом упорстве бурсаков, доносы не вели к наказанию, но начальство из доносов всё-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор за одинаковое преступление двоих учеников наказывал неодинаково? Это большею частью объяснялось тем, что на ученика, сильно наказанного, были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в *чёрную книгу*. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс; тогда многим неожиданно вручались *волчьих паспорты*; это те же титулки», только с отметкою в них о дурном поведении; такие титулки объяснялись единственно чёрною книгою.

Семёнов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было молчание: целый класс, а иногда всё училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное: жить целые недели среди живых людей и не услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающее презрение и отвращение, вполне быть уверену, что никто ни в чём не поможет, а напротив — с радостью сделает зло... И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов; на него клеветали, подводили под наказания, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось *бесчестным*.

Но начальство всё-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало, что хотело.

Семёнов, смотря на играющих в камешки, злорадно усмехнулся.

С пылу горячие! — закричал Гороблагодатский.

В его голосе было что-то зловещее. Тавля струсил и побледнел на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летает в воздухе, но теперь Тавлина рука лежит на столе; напрасно он понадеялся на себя:

Гороблагодатский в один приём взял все восемь конов, а Тавля срезался па пятом...

— Конца не будет! — сказал сурово Гороблагодатский.

Тавля видимо трусил. Окружающие не смеялись: они видели, что дело идёт не на шутку, что Гороблагодатский мстит.

Дошло до ста. От здоровенных щипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно:

— Да ну, полно же!..

— После двухсот проси пощады, — отвечал Гороблагодатский.

— Ведь больно!..

— Ещё больнее будет.

На сто семидесятом щипке у Тавли рука покрылась тёмно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча...

— Довольно же, Ваня... что же это будет? Гороблагодатский вместо ответа с ожесточе-

нием щипнул Тавлю.

Тавля знал, что слово Гороблагодатского ненаруσιμο, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить:

— Оставь... ведь натешился.

— Скажи только слово, еще двести закачу!.. Гороблагодатский дал щипчик более чем с пылу горячий, Тавля не вынес: по щекам его потекли слёзы.

Наконец двести.

— Теперь прощенья проси!

Как ни больно Тавле, а стыдно прощенья просить.

— Да ну, оставь же!

— Зачем насмехался давечь?

— Так то ведь шутка!

— Так ты смеешь, животное, надо мной шутить? Жестоко щипнул он Тавлю.

— Ну прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучения ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела.

— Будет с тебя. Сыт ли?.. — спросил Гороблагодатский.

Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью.

— Подлец! — проговорил он. — Слышь, не задевай! В зубы съезжу!

— Ты?

— Я.

— А вот и харя, съезди, — сказал Гороблагодатский, подставляя своё лицо...

Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил ещё здоровейшую. Завязалась драка...

«Так и надо, так и надо!..» — шевелилось в душе Семёнова.

Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа... Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе.

Гороблагодатский после драки пошёл к ведру напиться; на дороге ему попался Семёнов. Он дал Семёнову затрещину и, как ни в чём не бывало, продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова.

Постояв немного посреди класса, Семёнов стал бесцельно шляться из угла в угол и между партами, останавливаясь то здесь, то там.

Посмотрел он, как играют в *чехарду* — игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем её описывать. В другом месте два парня *ломали пряники*, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себе на спину друг друга; это делалось очень быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура. У печки секундатор, по прозванию Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстёгивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей парте играли в *швычки*: эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал — опять ложись; угадал — на смену его ляжет угаданный. Семёнов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков и как тот, вставая, схватился руками за голову.

«Так и надо!» — повторил он в душе и пошёл к пятой парте.

Там одна партия дулась в три листика, а другая в носки: известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колодой карт.

Семёнов перешёл к седьмой парте и полюбовался, как шесть *нахаживали*. Это шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперёд.

На следующей парте Митаха выделял богородичен на швычках, то есть он пел благим гласом «Всемирную славу» и в такт подщёлкивал пальцами. Тут же Ерундия (прозвище) иг-

рал на белендряхах, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, белендрясили. Третий артист старался возможно быстро выговаривать: «под потолком полком полколпака гороху», «нашего пономаря не перепономаривать статью», «сыворотка из-под простокваши».

Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и Шестиухая Чабря играли в плевки. Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на смазь. Шестиухая Чабря плюнул выше.

— Подставляй! — сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.

Омега выпятил свою лупетку (лицо).

— Надувайся! — сказал Чабря. Омега надул щёки.

— Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснел.

— *Верховая*, — начал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омegi, — *низовая*, — прикладывая к подбородку, — две *боковых*, — прикладывая к одной и другой щеке, — Надувайся!

Омега надулся.

— И всеобщая! — торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.

После этого он забрал лицо Омegi в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху, и книзу.

Семёнову было скучно. Он не знал, что делать...

— Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков! Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, от чего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.

Семёнов очутился около него.

— На сколько? — спросил его Элпахa, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семёновым, но купецкая корысть Элпахи взяла своё.

— На пять копеек.

— Деньги?

— Вот!

— Держись.

— Что ж ты обсосанных даёшь?

— Лучший сорт.

— Перемени, Элпахa.

— Леденчиков, пряников! — закричал Элпахa, отворачиваясь в сторону.

Семёнов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как «кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семёнов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба и в то же время одурь брала его со скуки.

— Давай играть в костяшки, — сказал ему Хорь. Семёнов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.

— Что гляделы-то пучишь? Не бойся!

— Надуешь...

— Ну вот дурак... что ты!

— Побожись.

— Ей-богу, вот те Христос!

— Право, не надуешь?

— Побожился! Чего ж тебе ещё?

— Ну ладно, — ответил Семёнов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

В училище была своя монета — *костяшки* от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась *однодырочная* костяшка; две однодырочных равнялись *четырёхдырочной*, или *паре*, пять пар *куче*, или *грошу*, пять куч *великой* куче. Костяшки имели цену, определённую

раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество костяной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре в юлу и в чет-нечет. Бывали владельцы сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в костяном богатстве. Употребление костяной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезывали костяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.

Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего — всё казённое, и если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжение семи лет у него не перебывало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем костяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был *кальячить*. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание. Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме её, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседский, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье — зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в костяшки; но, наживши кое-как великую кучу, он либо выменивал её на деньги и проедал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышленничал под партами либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорил с одеждой все костяшки, так что не на что было застегнуться — все валилось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волоса под партой и задал ему *волосянку*. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волосы распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.

— Чет аль нечет? — спросил он загадывая.

— Пусть нечет, — отвечал Семёнов.

— Твоё. Теперь ты.

Семёнов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли Хорь сказал «нечет», как хищный Хорь схватил костяшки и спрятал их себе в карман.

— Что же это, Хорь? — говорил Семёнов.

— Я тебе Хорь?.. А в ухо хочешь?

— Оплетохом, — сказал один из товарищей.

— Беззаконновахом, — прибавил другой.

— И неправдовахом, — заключил третий.

— Отдай, Хорь; право, отдай.

— Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семёнов не стал более разговаривать. Несчастный, отошёл в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в парте есть горбушка с кашей. Семёнов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздражённый постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами:

— Господа, это подло наконец!

— Что такое?

— Кто взял горбушку?

— С кашей? — отвечали ему насмешливо.

— *Стибрили?*

— *Сбондили?*

— *Сляпсили?*

— *Сперли?*

— Лафа, брат!

Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а лафа—лихо!

— Комедо! — раздался голос Тавли.

— Иду! — было ответом.

Семёнов ещё после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке.

— Готово? — спросил Комедо.

— Есть! — отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось шесть трёхкопеечных булок.

— Сожрёшь?

— Сказано!

Толпа любопытных обступила их. Комедо был парень лет девятнадцати, высокого роста, худощавый, с старообразным лицом, сгорбленный.

— Условия?

— Не стрескаешь — за булки деньги заплати, а стрескаешь — с меня двадцать копеек.

— Давай.

— Смотри, ничего не пить, пока не съешь...

Вместо ответа Комедо стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки.

— Раз! — считали в толпе: — два, три, четыре...

— Ну-ка, пятую...

Комедо улыбнулся и съел пятую.

— Хоть на шестой-то подавись! Комедо улыбнулся и съел шестую.

— Прорва! — говорил Тавля, отдавая двадцать копеек.

— Теперь и напиться можно, — сказал Комедо. Когда он напился, его спрашивали:

— А ещё можешь съесть что-нибудь?

— Хлеба с маслом съел бы.

Достали ломоть хлеба и масла достали.

— Ну-ка попробуй. Он съел.

— А ещё?

— Горбушку с кашей съел бы. Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку.

— Эка тварь!.. Куда это лезет в тебя, животина ты эдакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец?

— А что брюхо? — спросил кто-то.

— Тугое, — отвечал Комедо, тупо глядя на всех...

— Очень?

— Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комеды.

— Ишь ты, стерва!.. как барабан!..

— А что, два фунта патоки съешь?

— Съем.

— А четыре миски каши?

— Съем.

— А пять редек?

— А четыре ковша воды выпьешь?..

— Не знаю... не пробовал... Я спать хочу... — Комедо отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тем Тавля, накормив на свой счёт Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в *скоромные*. Васенда наводил: он выставляет руку на парте, а Гришкец со всего маху ладонью бьёт его по руке. Васенда старается отдёргнуть руку, чтобы Гришкец дал промах:

тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло.

— Не *садануть* ли в *постные*? — пробормотал он. Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные.

— А, вон где! — сказал он, отыскав то, что требовалось.

Около задних парт, подле Камчатки, собралось человек восемь. Один из них, положив голову па руки, так что не мог видеть окружающих, наводил; спина его была открыта и выпячена вперёд. Поднялись над спиной руки и с треском опустились на неё. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был...

— Тавля ударил, — сказал он.

Тавля лёг под удары.

Гороблагодатский между тем направлялся правым плечом вперёд, по-медвежьи, к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим.

Ударили Тавлю.

— Хлётко! — говорили в толпе.

— Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

— Кто ударил?

— Ты.

— Вали его... вали снова!.. Тавля наклонился...

— Взбутетень его!

— Взъерепень его!

— Чтоб насквозь прошло!

Трёхпудовый удар упал на спину Тавли.

— Гороблагодатский, — сказал Тавля, едва переводя дух...

— Растянуть его снова.

Опять повторился сильный удар...

— Бенелявдов, — указал Тавля.

— Вали ещё!..

— Что ж, братцы, эдак убить можно человека...

— Зачем мало каши ел?

— Жарь ему в становой.

Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля.

— Что ж это, братцы?.. Убить, что ли, хотите?

— Значит, любим тебя, почитаем, — сказал Гороблагодатский.

— Братцы, я не лягу... что же такое!.. Других так не бьют...

— А тебя вот бьют?

— Жилить?

— Вздует!

— Морду расквашу! — сказал Гороблагодатский.

— Братцы...

— Ну! — крикнул грозно Бенелявдов. Тавля угадал наконец... Игроки захохотали, когда он сказал:

— Я не хочу больше играть...

— Отчего же, душа моя? — спросил Гороблагодатский.

Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными... Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух.

— Кто это? — спросил он.

Поднялись носы и других игроков. Потом все подозрительно посмотрели на Хорьку.

— Ей-богу, братцы, не я... вот те Христос, не я... хоть обыщите...

— Чичер!.. — провозгласил Гороблагодатский. Человек десять вцепились Хорьку в волосы, а один из них запел:

— Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с пе-

ченью, перепеченью. Кочена иль пирога?

— Пирога, — пищал Хорь.

— Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью... Кочена иль пирога?

— Кочена.

Снова почали и опять пропели «чичер»...

— Кок или вилки в бок?

— Кок! — отвечал истасканный Хорь.

После этого, отпустив в его голову несколько щелчков, отпустили его с миром, говоря:

— Не бесчинствуй!..

— Черти эдакие! — отвечал Хорь; я в другой раз ещё не так!

Семёнов, видя, как таскали Хоря, шептал:

— Так и надо, так и надо!

Но Гороблагодатский схватил Семёнова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить; с другой стороны придержали Семёнова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? за что?.. Семёнов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе, еще несколько минут, и зги не увидишь.

— Братцы, — заговорил Семёнов, опомнившись: — за что вы меня ненавидите?.. Всё!.. Всё!..

Голос его был заглушён хоровою песней. Сумерки развивались быстро; едва можно рассмотреть лица; цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки.

Семёнов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор, в непроглядную тьму зимнего скверного вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна; добрая мать, которой он был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную; брат и две сестрёнки уже около стола, щебечут и смеются; звенят чайные ложки и блюда, и лёгкий пар идёт от живительной влаги. «Домой бы теперь!..» Он закрыл лицо руками, прислонился к стеклу и опять зарыдал... Но вдруг плач его пресёкся... Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Остепел он от страха, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец!.. Тебя все ненавидят! И даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают! Быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клочок волос из головы, плюнут в лицо...» В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчёта зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвёт гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», — прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою!» — прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клочок волос из головы того товарища, который займёт его место. Семёнов решил просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадёт к нему; он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте.

В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико...

Звуки мешаются и переплетаются. Раздаётся крик какого-то несчастного, которому, вероятно, *въехали в загорбок*; слышен напев на «*Господи воззвах, глас осьмый*»; вырывается из концерта патетическая нота в верхнее ге; кого-то ещё треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинаристы, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; *грегочет* какая-то тварь, то есть ржёт по-лошадиному, выделявая «и-и-го-го-го-го!» Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут, и поют на гласы, и вкушают затрецины. В Камчатке под управлением заматерело-

го Митахи, хранителя училищных преданий, поётся стих, сложенный ещё аборигенами бурсы:

Сколь блаженны те народы,
Коиx крепкие природы
Не знали наших мук,
Не ведали наук!
Тут в столовую заглянешь,
Щей негодных похлебаешь,
Опять в свой класс идёшь,
Идёшь, хоть и воешь...
А тут архангелы подскочат,
Из-за парты поволочат,
Давай раба терзать,
Лозой его стегать...

Бедняги! Недаром же так дико в вашем классе. Бас волочат, терзают, стегают!.. Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным, грустным напевом, забылся и не дошёл до нас...